

# МОЯ ВОЙНА



Лариса Захарова

Под каждым  
могильным камнем  
похоронена мировая  
история.

Генрих Гейне

Вспоминаю давнюю тревогу Василя Быкова о том, что из литературы о войне выпал огромный пласт — жизнь *рядовых советских* людей во время оккупации. И в самом деле: писали (в том числе и сам В. Быков) или о самоотверженных героях, например, молодогвардейцах, или об изменниках и предателях Родины... Остальных на огромной территории СССР вроде бы не существовало.

Задолго до этого высказывания известного писателя я, словно инстинктивно стремясь заполнить хотя бы частично этот пробел, написала о судьбе самого незаметного, рядового, обыкновенного, порой очень неумелого человека — о себе самой... о моей Великой Отечественной войне. И осуществила своё намерение ровно сорок лет назад, написав автобиографическую поэму, так и названную раньше — «Сорокалетие»... Теперь это число удвоено. В последние годы я закончила наконец её вторую часть... И назвала всё коротко и просто — «Судьба».

1940 год. Мне 17. Закончила школу с похвальной грамотой (медалей ещё не было). Семья: мама — учительница в деревенской семилетке. Папа — врач, тяжело больной, чахоточный, почти неподвижный; такая же бабушка, мамина мать, к тому же психически неуравновешенная; сестра мамы, тётя Лена, как «враг народа», отсидела пять лет без суда и следствия... Позже, в сорок первом, реабилитирована.

И я — студентка МГУ (вначале — учусь заочно, чтобы помочь семье), уже преподаю в этой же школе, где мама (литератор, «русак»).

Сорок первый год. Война. Возвращаюсь в деревню. Университет эвакуируется — кажется, в Ашхабад. Дома тяжело. Отец всё время стонет: кроме чахотки (туберкулёза лёгких), у него, наверное, рак — дикие боли... К тому же — старость. Ему 71 год («ровесник» Ленина), он был ровно вдвое старше мамы, когда они сошлись: ей 24, ему 48.

Приближается фронт. Приходят первые похороны. Погибли двое моих братьев — Боря и Серёжа. В Москве введены продуктовые и хлебные карточки, а в деревнях, колхозах — ничего этого нет. На трудодни записывали «палочки». Ещё до войны был голод: колхозники, выращивавшие хлеб, сами его не ели. Мама и я, как педагоги, получали паёк до войны: на неделю — буханка хлеба, которым мы делились с колхозниками. Был тогда в школе и буфет, а в нём — допотопный ячменный кофе и конфеты — слипшиеся крошечные «подушечки». Дети — оборванные, в опорках, голодные — все перемены простаивали у прилавка и не отрывали жадного взгляда от этой роскоши, не имея возможности купить хотя бы пару липких сладких квадратиков... Ну а теперь и этого не было, равно как и занятий в школе. Начальство сбегало, бросив на произвол судьбы и нашу семью, и двух педагогов: престарелого («не в себе») завуча и мать-одиночку с двумя маленькими детьми (младшая девочка — грудная).

Осень 41-го. Октябрь. После недолгих боёв приходят немцы. Начинается грабёж по деревням. Ночью к нам тайком пробирается наш легко раненный солдат — потерял своих. Прячем его на чердаке. Через трое суток наспех благодарит и уходит в ночь — надеется найти наши части. Слава Богу, немцы не обнаружили его — иначе бы нам всем несдобровать. Узнаём о том, что в соседней деревне женщины после боя подобрали человек 20–25 наших раненых. Вопреки запретам перепуганного насмерть старика-завуча переправляем с помощью колхозниц всех бойцов в нашу школу, устраиваем нечто вроде нелегального госпиталя. И страшно, и к тому же ощущение полной беспомощности: кормить нечем, лечить — у нас нет ничего, кроме бутылочки марганцовки. В колодце высохла вся вода. Соседний санаторий разграблен. О мыле уж не мечтаем, стираем щёлоком (из золы). Ни бинтов, ни ваты; собирали всё по домам, порвали свои сорочки, занавески, простыни, полотенца. От женщин ни в чём отказа нет. Со стыдом вспоминают, как растаскивали школьное имущество. Хотя что-то помогли спасти старшие ребята — ученики. Трудно без воды, ходим за ней в соседнюю деревню. Тяжело. Каждый день начинается с того, что в огромном чугунном котле из травы, гнилой прошлогод-



ней картошки, собранной на брошенных колхозных полях, липовой коры, лебеды, конского щавеля готовим еду... Побираемся по деревням. Люди делятся охотно всем, что есть, отказов не бывает. После завтрака — делаем перевязки, кипятим снятые — гнойные, страшные, окровавленные — бинты. Понемногу привыкаем. Думать о будущем... Как?! Даже у раненых лошадей, которых мы подобрали, пришлось отнять еду — солому: на ней, прямо на полу, лежат раненые. Боимся немцев. Они приходят, с подозрением и тайным страхом приказывают показать ранения, иногда снимать повязки: проверяют, действительно ли это раненые солдаты, а не партизаны, которых смертельно боятся. Немцы говорят, что пока разрешают нам ухаживать за нашими страдальцами, а потом возьмут их в госпиталь, который находится в районном городе за 15 км. Да, некоторым нужна срочная операция — делать это некому и нечем в наших условиях. Даже трава почти вся кончилась. Голодаем. Слава Богу, что все каким-то чудом пока ещё живы. Шесть человек из нашего «госпиталя» уже могут ходить; они благодарят нас и, простившись, уходят ночью искать своих. Но оставшиеся раненые — как с ними быть?! Немало значит то, что я кое-как знаю немецкий; кто бы ни пришёл из вражеского стана, злобный ли, пьяный — стоит лишь заговорить с ним на его родном языке, как он сразу смягчается... Плохо только, что совсем потерявший разум, одинокий старик-завуч, которого мама трижды в день кормит травяной баландой, которую едим и мы сами, и лошади, и, разумеется, раненые, совсем свихнулся: стал повсюду рассказывать о том, что я — немецкая переводчица...

Октябрь. (В датах могу ошибиться, дело давнее. А дневники военного времени пришлось уничтожить.) Раненые солдатики у нас уже больше месяца... Что делать? Одному или двоим грозят гангрена и смерть. Тщетно обращаюсь к немцам с просьбой прислать нам врача — его пока нет. Договариваемся о госпитале. Обещают помочь, говорят о своей гуманности к раненым и пленным.

Ноябрь. Председательница колхоза даёт нам транспорт: клячу, сани и сбрую. С то-

ской расстаёмся с нашими — не пациентами, друзьями, с которыми сроднились. Единственный на несколько деревень мужик — Никодим — за кучера. Сани сопровождают ещё двое немцев... Едут в город... в госпиталь. Бабы плачут и мы с ними. В сено прячем узелки с убогим, нищенским питанием...

Узнать что-либо о судьбе раненых не успеваем: приближается фронт. Немцы встревожены, что-то говорят между собой, волнуются... Слышится канонада, стрельба из автоматов... Враги явно готовятся к отступлению. Наши, по всей вероятности, уже близко... Где-то наши раненые, что с ними?! Ждём наших! Слышна опять пальба, где-то далеко — взрывы... «Катюша»? Гудят вражеские самолёты с чёрными крестами... Бой всё ближе...

Сразу всё изменилось. Немцы, отступая, сжигают деревни. Бушуют пожары. Укрылись в пристройке к сараю, где стоят раненые лошади. Во время боя мой ровесник и ученик Лёня Седов спасает нас, а сам попадает в плен к немцам...

Первый убитый — наш, русский солдат... Появляются каратели... Ищут партизан. Девятые сутки длится бой... Нас, находящихся между школой и деревней, обстреливают и наши, и немцы... Мы словно в самом центре войны... Бомбят самолёты — тоже со всех сторон... Несмотря на все ужасы, не забываем заботиться о старике-завуче; когда ослабевает бой, подкармливаем беднягу-больного, напуганного сначала немцами, а теперь уже опасаясь прихода наших — совесть-то нечиста... Нам его очень жаль. В перерывах между обстрелами готовим тут же еду. Растапливаем и кипятим снег, делаем «блины»... Жаль несчастного отца: ведь ему необходима диета! Нужно лечение, курево... Увы!

...Бесконечная радость! Пришли наши!!! Вопли, рыдания, слёзы, смех, плач... Объятия, поцелуи, стоны — овдовевших, осиротевших, потерявших близких...

Приехавшая из роно комиссия объявляет маме благодарность за спасение школьного имущества и самой школы...

Меня арестовывают за «шпионаж, помощь врагу и измену Родине»... Расстрель-



## Рядовой Васильев

Я — из Отечественной. Вот  
Один единый эпизод  
И, как заметит каждый,  
Такой обычный, что найдёт  
Любой, кто это всё прочтёт,  
Совсем не самым важным.  
В сороковых жила страна.  
Сражалась, гибла рота.  
Был фронт. И бой. И шла война.  
Привычной сделалась она —  
Обычная работа.  
Под вражьи пули грудь встать,  
В свою победу веря,  
А после схватки — подсчитать  
Взаимные потери.  
Бывает — сотни лягут враз,  
И горше нет урона,  
Ну а бывает, как сейчас,  
И значит — повезло нам.  
Доложит — русский ли, грузин  
В Литве, России, в Польше:  
— У нас убитый — лишь один,  
У них — намного больше!  
Вздохнут:  
— Васильев? Сашка? Жаль... —  
И примутся обедать.  
Смягчится общая печаль  
Пред радостью победы.  
И кто посмеет обвинить  
В бездушии кого-то?  
Убитых наспех хоронить —  
Военная работа.  
И всяк, привычный воевать,  
Знаком с суровым бытом:  
Есть долг солдата — убивать  
И доля — быть убитым.  
Сравнятся все — кто мил, не мил —  
В одной судьбе солдатской.  
И сколько вырыто могил  
С названьем горьким — братских!  
И сделать это часть ребят  
Пойдёт, собравши силы,  
Все, сняв пилотки, постоят  
Пред свежую могилу,  
А коль один погиб — так тут  
Квартиру вечную дадут  
Отдельную солдату,  
Дощечку, звёздочку найдут,  
Через тире — две даты...  
Потом в горячке боевой,  
Других теряя всюду,  
Что умер Саша — рядовой, —  
На время позабудут...  
Что делать? Каждый измождён,  
В сраженьях обессилен...  
Из двадцати миллионов он —  
Убитый тот Васильев...  
Но весть пришла с передовой  
В далёкое селение:  
«Пал смертью храбрых... рядовой...» —  
И рухнула вселенная.

ная 58-я статья. «Патриоты» — завуч и двое его знакомых, которые в войну меня ни разу не видели, но охотно подписали донос. Меня допрашивают и увозят в тюрьму — пока районную, затем — в Москву, на Лубянку, Таганку, во Владимир...

Освобождение после одного-единственного допроса. Снятие статьи. Я дома! Новый коллектив педагогов школы встречает меня в штыки. «Шпионка! Выдавала партизан! С почётом встречала врагов! Изменила Родине! Выдавала фашистам военные тайны! Выдала немцам Лёню Седова!»

Жить невозможно. Уезжаю в Москву, заканчиваю университет, поступаю в аспирантуру, из которой меня вскоре на всякий случай исключают, лишают прописки, стипендии, общежития... «За что?»

Мама ничего не знает... Я, изгнанная отовсюду, не евшая дней пять, помышляю о самоубийстве — но жаль маму... Старый друг помогает мне устроиться в московский детдом для детей-сирот войны. Я — биолог, 8 лет обучавшаяся в университете, а затем 4 года на курсах немецкого языка, бывшая аспирантка, работаю воспитателем, стираю чулки и пионерские галстуки своим деткам-четвероклассникам, вожу их в баню, читаю на ночь сказки. (Кстати, дружим и встречаемся до сих пор, как и с бывшими однокашниками, выпускниками предвоенного 1940 года, — с теми, кто ещё жив.) И самое главное — Лёня Седов вернулся!!! Да, вернулся, живой и здоровый.

Много лет я прожила с клеймом «немецкой шпионки и предательницы, выдавшей мальчика-партизана врагам»...

И вот, приехал!!! Приехал ко мне, чтобы поблагодарить за то, что я и моя мама пытались его спасти... Он сумел убежать от немцев, взявших его в плен на наших глазах. Сражался в Сопротивлении, побывал во всех европейских государствах... Привёз мне из Парижа крохотные дамские часики, которые я храню до сих пор... В те годы это было великое чудо — такой подарок.

К его маме мы пошли вместе...

Это всё — очень-очень краткий рассказ о том, что довелось мне пережить и вынести, равно как и моим любимым — когда-то большому семейству, где всегда царила любовь...

Спасибо всем моим родным. Но их, к великому сожалению, осталось так мало... И поэтому они особенно дороги мне.

Спасибо тебе, милый Лёня! Где ты сейчас? Жив ли? Жизнь разметала нас по свету... Благодарю тебя за неофициальную реабилитацию: ты спас меня, мою честь и совесть. Желаю всяких благ твоей семье.

Спасибо всем друзьям, не оставлявшим меня в самые горькие дни моей жизни. Желаю счастья всем. Всех люблю. Прощаюсь.

Я ведь прожила 80 лет! Здоровье ухудшается, годы спешат, время сокращается, как шагреновая кожа. Молю Бога, чтобы умерла я достойно, никого не обидела, ни для кого не была обузой. И прошу у Бога здоровья и благополучия всему живому на Земле.

**г. Жуковский**